

ВАСИЛИЙ ЛИТОВЧЕНКО



ВОСПОМИНАНИЯ

О солдатском коллективе

Жизнь каждого из нас протекает в различных коллективах. Так и моя жизнь: сначала коллектив учеников школы, потом студентов.

Началась война, я оказался в коллективе колхозников Таловской сельхозартели Воронежской области, потом в коллективе солдат.

В каждом из этих коллективов свои законы, свои требования к его членам.

Коллектив солдат, конечно, самый своеобразный. Формальные отношения между его членами определяются воинской дисциплиной – субординацией, но над неформальными отношениями законы субординации не властны, как это правильно считает современная психология.

В соответствии с этими законами в любом коллективе третируются те, кто чем-то отличается от всех. В сказке Андерсена гадкого утенка все клюют только за то, что он не такой, как все. Точно так же в солдатском обществе презирали и всячески обижали тех, кто не похож на других. Такие становились, как правило, объектом издевательств, различных солдатских шуток, порой весьма жестоких. В химвзводе 68-го стрелкового полка был солдат Батхан, родом из Белоруссии, перед войной он учился в Московском авиационном институте. Батхан отличался от всех своей интеллигентностью. Он разговаривал со всеми подчёркнуто культурно и вежливо, как в великосветском салоне. В грубой фронтовой обстановке это выглядело крайним диссонансом, и поэтому с самого начала его появления во взводе он стал служить объектом насмешек и издевательств. Солдаты насмехались над ним ещё и за то, что он всегда при первой же возможности уединялся и что-то писал в записной книжке. Я был единственным человеком во взводе, который разговаривал с ним без насмешек. Мы оба были недоучившимися студентами, поэтому он был со мной откровенным и показал, что он в записной книжке решает интегралы. Ещё когда его призывали, он выписал себе несколько сотен интегралов и стал их решать на фронте, чтобы не забыть математику, так как был

твёрдо уверен, что будет продолжать учебу в МАИ. Я убедил его в том, что это чепуха, остались бы головы целыми, а в интегралах мы разберёмся. Судьба распорядилась так, что моя голова осталась цела и ей пришлось разбираться в интегралах, а он вскоре после этого погиб.

Своеобразие солдатского коллектива состоит в том, что в нём все взаимоотношения выражаются в острой откровенной форме. Если уж кого презирают, то очень глубоко, и никто этого не скрывает, и выражают это презрение по любому поводу. И наоборот, если кого уважают, то это уважение безгранично и тоже выражается по всякому поводу.

В солдатском коллективе неожиданно для себя я стал уважаемым и авторитетным человеком. Ко мне обращались в таком роде: “Ну ты, самый честный человек в роте, скажи...” – и дальше мне предлагался для решения какой-либо конфликтный вопрос солдатской жизни, требующий высокого уровня совести. Конечно, для выступления в роли арбитра, кроме совести, требуется ещё и жизненный опыт, а его-то тогда у меня и не было.

Или ещё такой пример. Однажды нам надо было участвовать в ночной операции – отвлечь внимание противника от группы разведчиков, которая шла в ночной поиск за языком. Задание опасное. И вот перед операцией сержант Пешков пошёл к командиру роты и попросил, чтобы его послали вместо меня. Мне же он сказал: “Ты молодой, честный и умный, и ты должен жить. А я старик, своё уже пожил”. К счастью, всё обошлось благополучно. Были ещё такие случаи, когда я замечал, что меня оберегают. Может быть, поэтому я и остался жив.

И ещё я хотел вспомнить о солдатской дружбе. Как позже оказалось, в мирной жизни мне не встретились больше друзья столь верные и преданные, как те, что были у меня на фронте. Конечно, друзья были, но это, в основном, люди, которым дружить со мной было выгодно, которые эксплуатировали мой мозг и моё трудолюбие. Солдатская дружба совершенно свободна от всяких меркантильных соображений, поэтому она чиста и возвышенна. У меня было много друзей, и я вспоминаю их с большой теплотой. К сожалению, я был тогда настолько глуп, что, расставаясь с ними, не записал их адреса, поэтому эта дружба осталась без продолжения в мирное время.

В 68-м стрелковом полку самым лучшим моим другом был башкир из Оренбургской области Ултанов Захар Усманович. Был он моего возраста, перед войной окончил среднюю школу, поэтому ещё не имел специальности. Подружились мы с ним ещё в запасном полку и с тех пор всегда были вместе. Вместе ехали из Татищево в Калугу, вместе попали в 68-й полк во взвод химзащиты, вместе шли во всех походах и участвовали во всех боях. Если спим, то рядом, если тащим бревно, то я – за один конец, а он – за другой. Меня привлекала в нём почти тождественная мне психологическая организация: в любой ситуации я мог прогнозировать его действия так же, как и он мои. Ко всем явлениям окружающей жизни мы относились практически одинаково, поэтому никогда ни о чём не спорили. С таким другом все тяготы фронтовой жизни переносились гораздо легче, во всём на него можно было положиться, как на самого себя.

Ещё был у меня друг – смуглый красавец туркмен Алиев. Если такого одеть в бурку и папаху да посадить на коня, все женщины упадут в обморок. Был он тоже моих лет и тоже только окончил среднюю школу, но он воспитывался в очень культурной семье и с детства усвоил эту культуру. Причём его довольно высокий интеллект и его культура имели ярко выраженный не русский характер, а чисто восточный, арабо-персидский. Поэтому его подход к явлениям окружающей жизни для меня был совершенно неожиданным и непредсказуемым, чем он меня и привлекал. Как и полагается сыну востока, был он весьма горд и скрытен, поэтому наша дружба не была столь близкой, как с Ултановым. Ултанов для меня был совершенно прозрачным, а этот – сфинкс, душа которого скрыта. Тем не менее, это был друг, и я знал, что в критической ситуации на него вполне можно было положиться.

Я уже упоминал сержанта Пешкова. Он был гораздо старше меня, самый пожилой в роте. Он был командиром отделения химразведки, моим непосредственным командиром. Но командирского в нём было очень мало, ко всем своим подчинённым он относился отечески. Мне он особо покровительствовал, а я его выручал по части специальных знаний по химподготовке, в которых он был не силен.

Боевые марши

Когда формирование дивизии закончилось и командующий армией генерал Крылов Н. И. вручил полку боевое знамя, для нас наступила жизнь в движении. Полк всё время перемещался и больше суток на одном месте, кажется, ни разу не стоял. Шли только ночью, а на день останавливались где-нибудь в лесу, считалось, что для отдыха. Для кого, может быть, был и отдых, для нас, солдат, его не было; мы весь день копали землю. Надо было отрыть укрытия для людей, для лошадей, для повозок и прочего имущества. Земля в большинстве случаев была сухая глина со щебнем, копать которую было очень тяжело. Тем более тяжело, что от слабой кормежки физические силы наши были очень слабы. А самая главная трудность – совершенно никудышные лопаты. Наши саперные лопаты – и большая, и малая – изготовлялись из очень мягкого металла, копать ими твёрдую глину со щебнем было адским мучением. Когда начались бои, каждый старался любой ценой достать немецкую лопату. Из всей экипировки немецкого солдата самое совершенное – это лопата.

И вот в силу всех этих причин работа шла очень медленно, мы заканчивали копать всё то, что от нас требовали, только к вечеру и сразу же после этого выступали в следующий ночной переход. Утром останавливались на новом месте и начинали снова копать. Так и шло: всю ночь шагаем, весь день копаем, а спать совершенно некогда.

Когда полк вступил в бои, положение не изменилось к лучшему. Весь день мы что-нибудь строим (чаще всего, НП командиру полка), а на ночь, если нет передвижения, нас выставляют в боевое охранение впереди какого-либо батальона, чтобы дать отдохнуть солдатам-стрелкам, которые весь день вели бой.

Конечно, шагать всю ночь – это хуже, чем быть в боевом охранении. Вообще-то я ещё до войны был привычен много ходить, но то, что пришлось вышагать на войне, – это превыше всяких человеческих возможностей. По моим приблизительным подсчётам, только по территории Смоленской области я прошагал больше тысячи километров.

Осенью 1943 года после форсирования реки Десна мы шагали без останова четверо суток подряд. Утром на полчаса привал и вечером на полчаса привал, всё остальное время – шагай. Конечно же, без сна и без пищи, так как тылы, как всегда, сразу же отставали. Сколько километров мы прошли за этот переход, я не знаю, но под конец все были в таком состоянии, что если сел, то сам уже не встанешь. Поэтому при кратковременных остановках привалишься к дереву или чему другому, что есть поблизости, и стоишь.

Шагать, конечно, было очень тяжело, но всё же это не самое страшное. Самым страшным, по всеобщему признанию солдат, было то, что некогда было спать. Сутки проходят за сутками, а заснуть не приходится. Происходят существенные изменения в психике, человек становится, как бревно. В голове – постоянная тупая боль, в чувствах – полнейшее безразличие ко всему. Стреляют, убивают, кто-то гибнет – тебе это все абсолютно безразлично. Собственная жизнь тоже безразлична. Постоянно наблюдая смерть других, привыкаешь к неизбежности собственной смерти и воспринимаешь это, как неотвратимость, и относишься к этому совершенно спокойно. Если провести неделю без сна, то вообще в человеке мало остаётся человеческого. В любую минуту, если никуда не надо идти и ничего не надо делать, мгновенно засыпает, причём неважно, в каком положении – лёжа, стоя, сидя, – всё равно спишь. Но таких минут было очень мало.

Однако способность человеческого организма к адаптации беспредельна, и скоро солдаты приспособились. Они изобрели способ спать на ходу. Как только вечером полк начинает вытягиваться в походную колонну, каждый из нас спешит захватить место за повозкой. Если успел захватить, значит, повозка. Берёшься обеими руками за задок повозки и не отрываешься от неё всю ночь. И всю ночь спишь. Повозка останавливается – и ты останавливаешься, но не просыпаешься. Повозка пошла – и ты пошёл, но всё это во сне. Пройдёшь за ночь километров 30–40 и выспишься. Всем мест за повозками не хватало. Если не успел захватить, тогда худо. И всё равно засыпает, но при каждой остановке или натыкаешься на переднего, или задний на тебя натыкается, или выходишь из колонны в сторону. В любом из этих случаев – просыпаетесь. И снова, только заснул – просыпаетесь. И так мучаетесь всю ночь.

Несколько добрых слов нужно сказать о большой группе труженников войны – лошадях. На второй или на третий день после того, как мы прибыли в 68-й стрелковый полк, большую группу солдат послали на железнодорожную станцию в Калугу получать для полка лошадей. Тогда говорили, что лошади прибыли из Монголии. При первом же взгляде на них многие солдаты стали высказывать глубочайшее презрение к ним. Что это за лошади и как на них воевать? Маленькие, невзрачные, все одинаковой, какой-то неопределённой мышиной масти. И вообще не лошади, а чёрт знает что!

Однако почти сразу же отношение к ним стало меняться. Прежде всего, выяснилось, что эти лошади удивительно смиренные. Каждому солдату дали по одной лошади, все стали садиться верхом и ехали в полк, это что-то около десяти километров. Мне тоже дали лошадь. Она совершенно спокойно и равнодушно перенесла мои неуклюжие попытки взобраться на неё, в конце концов, я всё-таки влез на неё и поехал. А так как до этого я ни разу в жизни на лошади не сидел, то легко догадаться, чем это кончилось. Скоро я должен был с неё слезть и, раскорячившись, пойти пешком, а лошадь вести на поводу. Через некоторое время кто-то из солдат лошадь у меня забрал, и я добирался в расположение полка сам, без лошади.

Все достоинства этих лошадей, их выносливость и неприхотливость солдаты оценили только в боях. Оказалось, что эти монгольские лошади как нельзя лучше пришлись под стать русскому солдату. Лошади, как и солдаты, бывали сытыми только иногда, но тянули ляжку свою всегда и почти всегда на пределе возможностей, а часто и сверх этого предела.

Тянули повозки, на которые грузили не столько, сколько они могут увезти, а столько, сколько было надо. Тянули пушки и всё, что надо было тянуть. Тянули по всяким дорогам, а если нужно, то и без дорог по полям, лесам, оврагам, болотам. Точно так же и солдат тянул всё, что надо было тянуть, с той лишь разницей, что лошади тянули молча, а солдат мог вдоволь ругаться матом. Случалось, лошади безропотно переносили побои и издевательства со стороны сволочей, которые иногда попадались среди солдат-ездовых.

Когда лошадям оказывалось вытянуть не под силу, тогда рядом с ними впрягались солдаты и уже вместе вытягивали всегда. Случалось, лошади, как и солдаты, безропотно погибали во время бомбёжек и артобстрелов.

Сейчас стало модным писать мемуары. О героизме солдата на войне пишут все, но никто не пишет о героизме лошади на войне. Академик Павлов поставил памятник собаке за её вклад в науку. Было бы справедливо поставить памятник лошади за её вклад в Победу.

В июле 1943 года я чуть не попал в штрафную роту. А было это так. Дивизия непрерывно перемещалась и приближалась к линии фронта. После очередного ночного марша наш полк остановился на день в лесу. Было приказано от каждого подразделения выставить посты на опушке леса. От нашего взвода надо было выставить один пост. Сержант Афанасьев назначил меня часовым на этот пост. Он отвёл меня на опушку, указал место под кустом и ушёл. Я быстро выкопал себе удобный окопчик, расположился в нём и стал обозревать окрестности. Впереди меня простирался широкий луг, покрытый сочной зелёной травой и редкими кустами, а вдали виднелась опушка другого леса. Уже рассвело, в наиболее низких местах луга стали видны отдельные островки молочно-белого тумана, а над ним парили верхушки кустов. Проснулись птицы, их на опушке оказалось множество, и они от избытка птичьей радости начали оглушительный концерт. Взошло солнце, туман окончательно растаял, весь луг стал искриться и переливаться солнечными лучами в каплях росы. Вся эта красота природы порой полностью овладевала моим сознанием, однако периодически сквозь неё прорывалось более сильное ощущение – чувство голода. Я ведь всю ночь шагал, а поел рано вечером. Это было так давно. За моей спиной лес был полон различных звуков и говора: солдаты, как всегда, копали землю, рыли щели для людей, укрытия для лошадей. Через несколько часов характер звуков изменился, доминирующим стал звук котелков. Ясно, что кухни сварили завтрак.

Я стал ждать: вот-вот придёт смена. Время тянется медленно, солнце поднимается высоко. Стало жарко. Полк уже давно позавтракал, в лесу стало тихо, а смены всё нет. Возникла мысль: «Очевидно, обо мне забыли». Уйти с поста я не имел права и поэтому настроился на длительное ожидание.

И вдруг я мгновенно уснул. Сон возник стремительно, совершенно неожиданно, я как будто провалился в чёрную яму. Сколько я спал, не знаю. Во сне возникло чувство тревоги. Я ещё не проснулся, но уже знал: случилась какая-то беда. Открыл глаза — так и есть. Нет винтовки! Вот это да! Я был очень дисциплинированным солдатом, за всё время службы я не имел ни единого взыскания. И вдруг такой казус — на посту проспал винтовку! Я знал, что по законам действующей армии мне полагается штрафная рота. Всё было настолько неожиданно и нелепо, что я совершенно растерялся. Потом решил: что бы и как бы ни было, надо идти во взвод и докладывать командиру взвода. Дорогой стал размышлять. Если это сделал кто-нибудь из взвода, то ещё не всё потеряно. А если это был обход постов на уровне полка, и они забрали у меня винтовку, тогда моё дело труба.

Прихожу во взвод и вижу: стоит моя винтовка, прислонённая к шалашу, который солдаты построили для командира взвода и сержанта. Я, недолго думая, сразу же её схватил. Фу, отлегло... А Трефилов, командир взвода, оказывается, не спал, меня ожидал. Спрашивает из шалаша: “Так где твоя винтовка?” Отвечаю: “Вот, у меня в руках!” Он, конечно, долго меня ругал и грозил написать рапорт командиру полка, но я по его тону с самого начала уже догадался, что ничего плохого он мне не сделает. Когда эта процедура кончилась, сержант Афанасьев сказал: “Найди Барышникова и поставь его на пост вместо себя!”

Из этой истории я всё же сделал некоторые выводы. Впредь всякий раз, когда на посту или в боевом охранении я чувствовал, что могу уснуть, я ставил винтовку между колен, прислонял к плечу и ремень наматывал на руку, а руки сцеплял на животе. Один раз это устройство сработало. Однажды расположение полка окружили на ночь густой цепью постов. Я тоже туда попал. Мне указали место возле дороги, я выкопал неглубокую ямку, сел в неё и накрылся плащ-палаткой, потому что было холодно и шёл мелкий дождь. Так как перед этим я несколько суток не спал, то, конечно же, быстро уснул. Поздно ночью кто-то из полка проверял посты, подошёл ко мне сзади и начал потихоньку тянуть винтовку за ствол. При этом он ремнём потянул и мою руку, я сразу же проснулся, но виду не показываю, а так спокойненько говорю: “А что будет, если я нечаянно нажму на спусковой крючок?” Так как ствол был направлен прямо ему в живот, то он сразу сообразил, что от этого будет, и, не говоря ни слова, быстро ушёл.

Первые бои

Когда полк вступил в бои, командир полка держал наш взвод при себе в качестве резерва и для охраны НП. На второй день нас послали ночью пройти по всем местам, где днём наступал полк, и собрать брошенные пулемёты. Два дня полк вёл тяжелейшие бои за деревню Соболи, понёс огромные потери, но прорвать оборону противника не смог. Во главе с командиром взвода мы лазили по “нейтралке”, несколько раз нарывались на немцев. Немцы сразу же кидают осветительную ракету вверх в воздух. Пока ракета летит вверх, мы успеваем упасть на землю и вжаться в неё. Собрали мы все бесхозные пулемёты, их оказалось не так уж много, и занялись выносом раненых. Раненых оказалось на поле боя очень много, и мы до самого утра носили их. Вдвоём нести раненого на шинели или плащ-палатке тяжело и неудобно. Раненому тоже очень трудно, некоторые не выдерживали, и мы приносили уже трупы.

Перед рассветом командир взвода приказал возвращаться. Отошли от передовой в лесок и обнаружили, что одного солдата нет, — Барышникова. Так как немцы несколько раз нас обстреливали, то командир взвода решил, что Барышников где-нибудь на нейтралке лежит убитый или раненый, и приказал нам пройти снова по всем тем местам, где мы были ночью, и найти его. С большой осторожностью мы передвигались по нейтралке, но немцы нас обнаружили и взяли двумя пулемётами в такой оборот, что мы еле ноги унесли, по счастливой случайности все уцелели. Вернулись в тот же лесок и доложили командиру, что Барышникова не нашли. Он совсем пал духом: как же ему докладывать о потере солдата? На обратном пути прямо возле дороги под кустом увидели спящего в окопчике Барышникова. Оказалось, он отстал, ещё когда мы шли на передовую, залез в окоп и всю ночь проспал там. Солдаты, конечно, разъярились и хотели взять его в кулаки, но командир взвода не дал его бить.

Первый раз я попал на передовую где-то в районе Спас-Деменска. Передовая была в редком молодом лесу, заросшем кустарником. Совершенно нет обзора, кругом одни кусты. Немцы близко, их хорошо слышно, но не видно. Мы окопались, но нас сильно растянули, соседей ни справа, ни слева не видно. Возникло ощущение полного одиночества и сильного страха. Стало казаться, что вот-вот из-за куста выскочат немцы, схватят и поволокут в плен. Не страшно, если убьют, но очень страшно попасть в плен. Однако через несколько часов это ощущение прошло. Я стал очень внимательно наблюдать за лесом в направлении немцев. Немцы совсем близко, они что-то кричат, чем-то гремят, что-то таскают, всё очень хорошо слышно, хотя и не видно. И вдруг совсем близко от меня, метрах в пятидесяти, слышу удары топора, и с каждым ударом вздрагивает вершина берёзки, которую мне видно выше кустов. У меня под носом немец рубит берёзку! Прицелился по этой вершине, взял возле самой поверхности земли и запустил из своей СВТ очередь на весь магазин. Немец заорал, значит, я его ранил. У немцев поднялся крик, шум, открыли огонь в нашу сторону. Солдаты нашего взвода также стали стрелять. Перестрелка, которую я начал, продолжалась довольно долго. (Между прочим, эти мои первые в жизни выстрелы по немцам оказались единственными за всю войну результативными выстрелами — я ранил немца. После этого я выпустил по немцам тысячи пуль из СВТ, из ППШ, из “Дегтярёва”, из трофейного МГ-34, но результаты этой стрельбы видеть не приходилось, скорее всего, этих результатов просто не было.) Потом перестрелка стихла, и немцы начали рубить деревья во многих местах. Мы снова дружно стали открывать огонь по каждому звуку топора. Позже к немцам прямо на передовую приехала автомашина, и они начали сгружать что-то тяжёлое, по звуку мы определили — колючую проволоку. Мы открыли бешеный огонь в этом направлении, моя СВТ работала, как часы, и я выпускал магазин за магазином, так как у меня в вещмешке заряженных магазинов было много. Немцы снова подняли крик, а потом затихли, разгрузка прекратилась. Снова наступила тишина. Минут через 15–20 в этой тишине слышим: где-то далеко за немецкой передовой подряд три выстрела из тяжёлых пушек. Слышу нарастающий по частоте вой приближающихся тяжёлых снарядов, по звуку — калибр не менее 152 мм. Звук на высокой ноте резко обрывается, значит, упадут где-то рядом. Мгновенно оказываюсь на дне щели и вслед за этим слышу один за другим три тяжёлых взрыва: один — слева позади, другой — справа позади, а третий — тоже сзади, но совсем близко от моей щели. Меня забросало комьями земли от взрыва. Это возымело на нас очень сильное действие, мы поняли, что с этим шутки плохи, и стрелять перестали. Немцы разгрузили машину, она уехала, потом пришла ещё одна, потом по всей передовой начался шум и гам — немцы забивали колья, таскали проволоку, строили проволочное заграждение. Мы не стреляли и им не мешали. Потом, когда стемнело, к немцам приехала кухня и они загремели котелками. Мы не стреляли, но завидовали немцам, так как нам ужинать не дали.

С наступлением темноты мы перекликались друг с другом, постепенно эти переклички затихли, и мы дружно уснули каждый в своей щели, к большому неудовольствию сержанта Афанасьева, который бегал от одной щели к другой и, ругаясь матом, тормозил каждого за шиворот.

Утром мой сосед справа, старый солдат, сказал мне: “А ведь это они по тебе били из дальнбойных. Наш огонь мешал им строить проволочное заграждение, а твою СВТ они приняли за пулемёт и попросили артиллерию уничтожить пулемётную точку”.

Десна

В начале сентября 1943 года дивизия готовилась к наступлению и форсированию реки Десна. Наш взвод отправили на передовую и присоединили к стрелковому батальону. Позади нас была маленькая роща, а впереди — неубранное ржаное поле, и в этой ржи — цепь ячеек с солдатами батальона. За этим полем, довольно далеко, на буграх, поросших кустарником, — немцы. Ещё когда шли к передовой, то на некотором удалении от неё, в ложбинке, видели батарею тяжёлых реактивных снарядов, которые выстреливаются прямо из ящиков. Солдаты расчёта этой батареи монтировали наклонные металлические рамы и устанавливали на них ящики со снарядами в четыре этажа.

Мы окопались и стали ждать. Обстановка была напряжённая, нервная, как перед грозой. Туда и сюда, пригибаясь во ржи, бегают солдаты, передаются различные команды и распоряжения. Немцы ведут довольно частый огонь, в основном миномётный. Позади, правее нас в ложбинке, — наши миномёты, они тоже всё время ведут огонь. Всё это вместе взятое создаёт обстановку нарастающего возбуждения, тревожного ожидания, как будто поднимается какая-то волна и поднимает каждого из нас всё выше. В высшей своей фазе эта волна выдернет каждого из его ячейки и швырнёт всех вперёд, навстречу пулям и минам. И пойдёшь или побежишь, пренебрегая всеми страхами и опасностями, потому что под воздействием этой волны чувство твоей индивидуальности как-то расплывается, отодвигается на задний план, а доминирующим становится чувство твоей общности со всеми.

Но оказывается, как я это здесь увидел, есть люди, которые, почувствовав нарастание этой волны, реагируют на неё совсем иначе. Вслед за нами пришла какая-то группа солдат и с ними сержант, молодой парень, по внешности еврей. Откуда этот сержант взялся, никогда раньше я его в полку не видел. Они окопались на правом фланге батальона. И вот когда эта тревожная волна поднялась довольно высоко, и чувство возбуждения охватило всех, у этого сержанта не выдержали нервы. Он выскочил из своей ячейки и побежал вдоль цепи. Подбежал к лейтенанту, рухнул перед ним на колени и завопил: “Пошлите меня куда-нибудь отсюда, я здесь не могу!” Лейтенант заорал матом: “Марш на место!” — и схватился за пистолет. Сержант подхватился и побежал по ржи куда попало. В этот момент прямо перед ним ударила немецкая мина. Трус погибает первым — так говорили нам старые солдаты, и здесь я увидел наглядное подтверждение правильности этих слов.

Финал всей этой истории был весьма печален. Ударил залп реактивных снарядов, они легли за немецкой траншеей. Нам сказали, что всего будет четыре залпа, после четвёртого нужно вставать и идти вперёд. Второй залп накрыл передовую немцев. Они сразу же прекратили огонь, наступила тишина. Многие наши солдаты уже встали и приготовились идти. Третий залп пришёлся по нейтралке, а четвёртый — по нам. Это было страшно. В таком аду ни до этого, ни после мне бывать не приходилось. Причём страх усугублялся дикостью ситуации — по нам бьют свои! Я лежал на дне своей ямки, по всему телу барабанили комья земли, свистели осколки, и я вдруг, к своему величайшему изумлению, почувствовал дикий голод. В кармане нашёл замусоленный огрызок сухаря и стал жевать. И только недавно, читая в журнале статью по психологии, я узнал, что удивляться там было нечему, это, оказывается, нормальная реакция на стресс. Ну, а тогда, после залпа поднялся большой крик, потери батальона были очень велики.

Однажды за мной охотился немецкий пулемётчик. Меня послали с донесением в штаб полка, а идти надо было несколько километров. Тропинка, по которой я шёл, пересекала поросшую лесом лощинку. За лесом я немцам не виден и поэтому шёл спокойно и свободно. Когда лес кончился, тропинка пошла вверх через поле, засеянное горохом. Я полагал, что от передовой отошёл уже довольно далеко и немцам не виден. Но как только я вышел из-за леса, услышал свист пуль, а потом звук пулемётной очереди. Я упал и отполз в сторону — в горох. Только поднялся — снова очередь. Снова упал, сорвал стручок — горох оказался очень вкусный. Я стал ползать по полю и есть горох. Долго, не меньше получаса. Думаю — немец обо мне уже давно забыл. Оказывается, не забыл: как только я поднялся — снова очередь. Чёрт возьми, какой упрямый попался немец! Снова поел гороха, но идти-то надо. Пришлось перебежками преодолевать расстояние около полукилометра. И каждый раз, когда я поднимался, следовала очередь. Немец перестал стрелять только тогда, когда я перевалил через гребень и стал ему не виден. Теперь вспоминаю этот случай каждый раз, когда смотрю по телевизору футбольный или хоккейный матч с участием команд из ФРГ. Такое же фанатичное железобетонное упрямство в достижении своей цели. Оказывается, это черта немецкого национального характера.

О солдате Панченко

В нашем взводе был солдат Панченко, который всегда имел вид человека, подавленного большим горем. Всё дело в том, что он с самого начала, с момента мобилизации, вбил себе в голову, что он домой никогда уже не

вернётся, что он обязательно погибнет. И он каждый день жил, как последний день своей жизни.

В крайне тяжёлой ситуации, в которую мы попали в районе Дрибина, Панченко не струсил. Получилось так, что после занятия местечка Дрибин один батальон нашего полка оказался на правом берегу речки Ремиствянка, неподалёку впадающей в реку Проня, в непосредственной близости от немецкой передовой. Только немцы сидели в траншеях, выкопанных на сухом склоне, а мы сидели в болоте между этим склоном и берегом речки. Болото было осушено канавами, в канавах — вода, а на гребнях между канавами растёт капуста. Вот в этой капусте мы и лежали, окопаться глубже было нельзя, так как выступала вода. Немцам наше присутствие там крайне не нравилось, и поэтому они непрерывно нас контратаковали. Соседний взвод немцы окружили и уничтожили. Положение нашего взвода стало критическим: нас осталось около двадцати человек, и мы оказались отрезанными от речки огнём немецкого пулемёта. В этой ситуации старший лейтенант, который нами командовал, послал трёх солдат уничтожить немецкий пулемёт, который обосновался под печью разрушенной хаты. Солдаты Панченко, Потапов и дивизионный разведчик подползли к пулемёту по канаве и забросали его гранатами. Старший лейтенант, хотя и был ранен, продолжал нами командовать. Он очень толково организовал оборону, поэтому мы выстояли до конца дня. По его распоряжению разведчики днём высмотрели лазейки, по которым ночью всех нас оттуда вывели под самым носом у немцев к берегу реки. Через реку перебрались вброд, и, когда только-только забрезжил рассвет, мы были уже на левом берегу реки и по широкому мокрому лугу пошли к своим.

Панченко признался после, что здесь он был абсолютно уверен, что пришёл его последний час, а пулемёт пополз уничтожать потому, что понимал: если его не уничтожить, то он всех нас покосит.

Но предчувствие Панченко сбылось. Он прошёл всю войну и погиб на охоте в момент своей демобилизации уже после войны.

Оборона в Белоруссии

В конце 1943 года, когда дивизия перешла к обороне, в моей жизни произошли изменения. Они связаны с приказом Ставки, в котором сообщалось о требовании немцев прекратить применение термитных мин к «катюшам» и об их угрозе химической войны. Это расценивалось так, что немцы, возможно, собираются начать химическую войну и ищут подходящий предлог. Поэтому приказом запретили использовать подразделения химзащиты не по назначению, предлагалось доукомплектовать их личным составом и принять меры для повышения их специальной подготовки. Вот этот приказ и изменил нашу жизнь. Раньше мы только формально числились взводом химзащиты, а фактически нас всё время использовали или как стрелков, или как сапёров. К этому добавилось ещё одно обстоятельство: у нас забрали командира взвода старшего лейтенанта Трефилова, а на его место прислали старшего сержанта Зерчанинова. Со старшим сержантом мы конфликтовали. Поэтому по предложению начхима полка Ирмина меня и Глотова в порядке доукомплектования перевели в дивизионную химроту — 36 ОРХЗ. Вот так я оказался в химроте и стал осваивать воинскую специальность химика-разведчика.

Всю зиму и весну 1944 года дивизия простояла в обороне в Белоруссии. Две линии траншеи, выкопанные в первые дни обороны, к весне выглядели наспех вырытыми канавками. Настоящую оборону стали строить тогда, когда начали готовиться к летнему наступлению. Тогда на несколько километров в глубину обороны землю изрыли траншеями полного профиля, ходами сообщения и другими земляными сооружениями. Конечно, это полностью соответствует суворовскому принципу: «Хочешь наступать — готовься к обороне». Эта подготовка коснулась и химроты: целыми днями мы копали траншеи, а ночами ставили МОФы (минно-огневые фугасы). МОФы мы ставили совместно с дивизионными сапёрами. Вместе с сапёрами мы выходили ночью на нейтралку, сапёры размечали полосу и указывали нам место каждого фугаса. В этом месте мы копали неглубокую воронкообразную ямку и укладывали в неё 20 бутылок «КС» (жидкость, которая самовоспламеняется при контакте с воздухом). Сапёры в центре ставили противопехотную мину, засыпали зем-

лэй и маскировали. Полоса строилась так, чтобы атакующий немецкий танк, по какому бы пути ни пошёл, обязательно должен был наехать хотя бы на один фугас. При этом взрывается мина, взрывом все бутылки выбрасываются веером вверх, о корпус танка они разбиваются, жидкость прилипает к броне (она имеет такое свойство) и воспламеняется, в итоге танк загорается. Поставили мы этих МОФов много, но немецкие танки по ним не ходили. Позже нам рассказывали, что, когда дивизия пошла в наступление, на один фугас наехала повозка. Ездовой, обрезав постромки, вместе с лошадьми убежал, а повозка успешно сгорела полностью, как и должно быть.

Но это было позже. А тогда нам надо было для каждого фугаса доставить на нейтралку ящик с двадцатью бутылками “КС”. Их привозили машинами из армейских складов и выгружали на расстоянии более двух километров от передовой. Подвезти ближе мешали свежерытые траншеи. “КС” — вещь страшная, достаточно малейшего попадания воздуха в бутылку, как она воспламеняется и горит, её ничем не затушить — ни водой, ни землёй. Поэтому для транспортировки каждый ящик засыпался землёй, каждая бутылка была изолирована слоем земли от дна ящика и соседних бутылок. Ящик, конечно, становился очень тяжёлым. На машине везти можно, а нам надо было нести его на руках более двух километров, да при этом надо перебираться ровно через десять траншей и ходов сообщения (это я подсчитал точно, потому что перебираться через них много раз). Правила категорически запрещают транспортировку ящиков с бутылками без земли, поэтому мы сначала попытались нести их с землёй. На расстоянии в несколько десятков метров мы убедились, что это нам совершенно непосильно. Поэтому кто-то проявил инициативу, а все остальные эту инициативу дружно поддержали и стали делать так: бутылки осторожно вынимали из ящика, ящик переворачивали и высыпали землю, бутылки снова ставили в ящик и так несли. Нести вдвоём ящик с двадцатью бутылками совсем легко, но надоедают траншеи. Возле каждой траншеи останавливаемся, один лезет в траншею и осторожно переставляет ящик над головой на другую сторону, другой перепрыгивает, первый вылезает из траншеи и пошёл к следующей траншее. Пока добираемся до нейтралки, эту процедуру надо повторить десять раз. Утомительно, но ничего не поделаешь. К этому все приспособились, и конвейер исправно работал каждую ночь.

В одну из ночей я нёс ящик в паре с Лагутиным, а метров за сто впереди нас несли ящик Жаворонков и Мотыльков. Мотыльков — человек уже пожилой, родом из Москвы, на гражданке работал в Академии наук СССР, специалист по редким книгам. Так вот, этому Мотылькову надоело лазить в траншею и обратно, и он предложил своему напарнику прыгать через траншею вдвоём вместе с ящиком. Несколько раз они прыгнули удачно, а на предпоследней траншее, уже возле передовой, Мотыльков сорвался, упал в траншею, вырвал ящик из рук Жаворонкова и все двадцать бутылок вывалил на себя. Ночь была тихая и тёмная, дело было около полуночи, на передовой стояла абсолютная тишина. И вдруг мы услышали жуткий крик Мотылькова и увидели высокий столб огня. Немцы сразу же навешали ракет и открыли пулемётный огонь, нас прижали к земле. Когда к Мотылькову стало возможно подойти, то от него остался обгорелый труп. Живьём сгореть — смерть страшная.

Белорусская операция 1944 года

О наступлении 1944 года в моей памяти воспоминаний сохранилось мало. Очевидно, это объясняется тем, что мы находились во втором эшелоне дивизии.

Случилось так, что мы всю ночь ехали вслед за наступающей дивизией (химрота имела четыре машины “ГАЗ-АА”, а личного состава было всего двадцать человек), и рано утром командир роты капитан Бондарев решил сделать небольшой привал на завтрак. В полукилометре от дороги виднелась опушка небольшого леса, мы туда свернули. Когда подъезжали к опушке, услышали в лесу шум и крики, потом всё стихло. А когда мы въехали в лес, были крайне удивлены. Как мы после разобрались, оказалось, мы нечаянно спугнули немецкого генерала. По той дороге, что мы ехали, раньше нас ещё вечером отступали немцы и с ними этот генерал. Генерал, очевидно, решил, что оторвался от нас достаточно далеко, и свернул в этот лес на ночёвку. Генерал прекрасно выспался, утром проснулся и готовился бриться. И тут немцы

увидели наши машины. Мы перекрыли им выезд на дорогу, а ехать на машинах в глубь леса немцы, очевидно, не рискнули, поэтому они всё бросили и удрали в лес. Мы увидели три машины: одну легковую и две грузовые. В легковой машине, — кажется, это был “Адлер”, — был поднят капот и открыт ящик с инструментом: водитель копался в двигателе, а мы ему помешали. Рядом грузовой “Опель-блиц” с крытым кузовом, в кузове несколько солдатских ранцев, плащ-палатки и другие принадлежности экипировки немецких солдат, в частности, пулемёт МГ-34 с большим запасом лент с патронами. Мы сделали вывод, что в этой машине ехала генеральская охрана. И, наконец, самое главное — вторая машина: фургон на шасси “Опель-блиц” — походное генеральское жильё. У этой машины работал двигатель на малом газу, в фургоне горел свет, стояла раскладушка с неубранной постелью (у немцев были такие деревянные раскладушки, которые складывались гармошкой), на столике — приготовленные британские принадлежности, тёплая вода в серебряном стаканчике. Но наибольший восторг у солдат вызвал тримпель, на котором висел генеральский мундир со многими наградами и генеральские брюки. Оказывается, бедному генералу пришлось бежать в лес не только небритым, но и без штанов! Ну, конечно, все аксессуары генеральского быта достались нам в качестве трофеев, капитан взял себе раскладушку и бритвенный прибор, всё остальное растащили солдаты.

Грузовой “Опель” мы забрали с собой, слив в него горючее из остальных машин. Легковую и генеральский фургон мы бросили. Конечно, шофёры сняли с них всё, что представляло для них ценность. Из всех трофеев мне досталась немецкая треугольная плащ-палатка, да, кроме того, капитан приказал мне, как наиболее грамотному в отношении оружия, взять МГ-34 и всегда в движении устанавливать его на кабине полторки, где он сам сидел за рулём. Так мы в дальнейшем и ездили.

Ещё мне запомнился эпизод под Минском. Мы едем по лесной дороге, за рулём передней машины — капитан Бондарев, кузов машины загружен противохимическим оборудованием, а сверху пятеро солдат, в том числе и я с пулемётом МГ-34, установленным на кабине. Утро, тишина, прекрасная погода, вокруг лес, птички поют. О войне забываешь, душой овладевают самые разные сентиментальные чувства. Вдруг из леса выбегают на дорогу около десятка немцев с автоматами. Инстинктивно хватаюсь за пулемёт, но они поднимают руки. Капитан останавливает машину, немцы подбегают к нему, начинается разговор. Капитан немного знает немецкий, а один из немцев немного знает по-русски, и разговор идёт на дикой русско-немецкой смеси. Однако обе стороны понимают друг друга. Немцы просят взять их в плен. Капитан объясняет им, что он этого сделать не может, так как машины и так перегружены, их некуда посадить. Капитан советует им идти в ближайший райцентр, где есть комендатура или стоит воинская часть. Немцы отвечают, что это никак невозможно, так как в любом населённом пункте их сразу же схватят партизаны и расстреляют. Капитан говорит, что ничем помочь не может. Немцы очень разочаровались, повернули и ушли в лес. Капитан вдогонку спрашивает, зачем они таскают автоматы, если собираются сдаваться в плен? Немцы отвечают, что если на них нападут партизаны, то они будут защищаться.

В тот же день, когда мы приехали в заданный пункт и расположились недалеко от штаба дивизии, старшина роты Смирнов зачем-то поехал на велосипеде в ближайшую деревню. Расстояние было километров семь, почти всё время дорога шла лесом. Обратный старшина возвратился пешком, ведя велосипед в руках, и в сопровождении семи или восьми немцев, которые сдались ему в плен. Немцы были очень рады, надарили старшине кучу часов, зажигалок, портсигаров и других сувениров. Оказалась такая же история — немцы смертельно боялись партизан, но знали, что русские солдаты пленных не расстреливают. Поэтому ожидали в лесу возле дороги первого попавшегося солдата, чтобы сдать его в плен, и были очень рады, что не попали в руки партизан.

В период наступления дивизии на Неманском плацдарме не было подвоза горючего. Всю артиллерию перевели на конную тягу. В этой связи три машины химроты с основной частью оборудования были оставлены в деревне под Раковым. Там же осталось несколько солдат и командир взвода лейтенант

Капустин. Вперёд двинулась одна машина с командиром роты, на которую отобрали самый жёсткий минимум противохимического оборудования и слили всё горючее с остальных машин. На некоторое время этого горючего хватило, а потом в каком-то райцентре нашли бочку метилового спирта и дальше ехали на этом спирте. Правда, двигатель сильно грелся и плохо тянул, кроме того, спирт сильно испарялся и в бензопроводе всё время образовывались газовые пробки, поэтому машина сильно кашляла и чихала, но тем не менее ехала. Кроме того, вперёд двинулась подвода, которая была в роте, на ней ехал старшина со всем своим имуществом и повар Улановский с кухней. Весь остальной личный состав роты под руководством сержантов Пешкова и Жолнина во главе с командиром взвода лейтенантом Мухиным двигался пешком.

Когда появилось горючее, мы поехали выручать свои машины. В кабине — капитан за рулём и шофёр Зотов, в кузове — бочки с горючим и восемь солдат с сержантом Пешковым, и я в том числе. Мы считали, что едем от фронта в глубокий тыл. Оказалось совсем другое. Вся территория, которую мы считали тылом, по ночам оказывалась в руках отступающих немцев. Немцы двигались ночью по дорогам большими колоннами. Крупных населённых пунктов они, конечно, избегали, но малые деревни, которые им попадались вблизи дорог, они захватывали и полностью очищали их от всего съестного. После их набега в деревне не оставалось ни корки хлеба, ни курицы, ни телёнка или коровы, в общем, как после саранчи остаётся голая земля. Чтобы противодействовать этому, в некоторых деревнях организовывали самозащиту. Мальчишки набирали брошенного немецкого оружия и патронов, окружали на ночь деревню со всех сторон и всю ночь стреляли во всех направлениях от деревни, рассчитывая, что немцы, услышав стрельбу, в деревню не сунутся. Мы ехали долго, но нигде не встречали наших частей, в одном райцентре была наша коммандатура, и больше нигде ничего мы не встретили. Нас была на машине горстка, и нам всё время приходилось увёртываться, чтобы не напороться на немцев.

Но один раз всё-таки напоролись. Подъезжая к деревне, мы заметили, что в ней стоит какая-то воинская часть. Когда въехали в деревню, то увидели, что она полна немцев. Капитан скомандовал нам не стрелять и спокойно повёл машину через деревню. Справа и слева от нас немцы группами и в одиночку занимались своими делами, переходили через дорогу, а мы спокойно ехали, как будто так и надо. На крыльце одной хаты явно общественного назначения мы увидели немецкого полковника, который отчитывал нескольких офицеров, стоящих перед ним навытяжку. Увидев нас, полковник остановился с открытым ртом, однако никаких действий в отношении нас за этим не последовало. Какой-то немец, совершенно не обращая внимания на нас, прямо перед нашей машиной переводил через дорогу пару лошадей. Капитан был вынужден притормозить и просигналить, немец поднял голову, увидел нас и обалдел от удивления, но лошадей с дороги он уже убрал, и мы поехали дальше. На окраине деревни мы увидели большую группу немцев. Когда мы выехали за деревню, из этой группы по нам сделали несколько выстрелов, пули просвистели близко, но не попали. Капитан дал газ, и мы быстро уехали. Когда деревня скрылась из виду, капитан остановил машину и поинтересовался: “Ну, как, никто со страху в штаны не наложил?” Мы ответили, что всё произошло так быстро и неожиданно, что мы не успели испугаться. Капитан признался, что больше всего боялся, чтобы не заглох двигатель, если бы машина остановилась, то живыми мы бы не остались.

Когда мы добрались до своих машин, оставленных под Раковым, и ехали обратно к фронту уже в составе четырёх машин, то к тому времени все отступающие немецкие части уже прошли, однако разрозненные группы немцев ещё были, днём они прятались по лесам и иногда появлялись в деревнях с целью добычи съестного.

Так в одной деревне, где мы ночевали, утром прибежал к нам человек с немецким автоматом, сказал, что он из партизан и что на окраине деревни только что была группа немцев, они ушли в лес, но их надо догнать и уничтожить. Для этого он попросил у капитана в его распоряжение солдат. Капитан послал с ним шесть человек во главе с сержантом Пешковым, и я попал в их число. Он долго водил нас по лесу, но немцев мы не нашли.

Тяга солдат к выпивке была колоссальной. При вступлении во всякую новую местность самая первая забота — а что тут есть такого, что годилось бы

выпить? Это не обязательно должна быть водка, это может быть любая жидкость, которая хотя бы отдаленно имела запах спирта. У нас в химроте нашли какую-то немецкую политуру, соорудили примитивный аппарат, перегнали её на этом аппарате и всю выпили. Оказалось, что сделана она была на метиловом спирте, и все, кто пил, расплачивались за это своими глазами и ногами. Шофёр Яновский долго ходил с палочкой, а старшина Бойцов совсем перестал ходить и был отправлен в госпиталь. Бойцов прислал письмо через год. Он всё ещё был в госпитале, и надежд на выздоровление никаких не было.

Ещё один случай, о котором тогда много говорили, произошёл в Литве. После форсирования Немана дивизия вела тяжёлые бои на плацдарме. В ходе этих боёв 94 ОПТАД и с ними батальон пехоты заняли спиртзавод километрах в семи-восьми от Немана. И, конечно же, сразу бросились искать спирт. Нашли в подвале большие ёмкости со спиртом. Дал очередь из автомата – и из каждой дырочки ударила струя спирта. Присосался к ней – и сосёт до полного умопомрачения. Кто вылез и где-то в кустах завалился спать, а некоторые уснули тут же, в подвале. А так как спирт из дырочек всё течёт, то подвал через несколько часов залило, и все, кто там спал, утонули в спирте. Немцы предприняли контратаку, но никто им сопротивления не оказал, так как все были мертвецы пьяны. Немцы без боя снова заняли спиртзавод, перебили всех наших пьяных солдат, но и сами перепились. Поэтому другие наши подразделения, переброшенные под этот спиртзавод, также заняли его без боя и накрыли там всех пьяных немцев. Между прочим, только после этого начали вылезать из кустов некоторые из наших солдат, занимавших завод в первый раз. Они не попались немцам на глаза и остались живы, проспав всю эту историю.

Самым лучшим моим другом в химической роте был шофёр Аскар Гумиров, татарин по национальности. Он старше меня был лет на семь или десять, но привлекал меня двумя качествами. Первое – он был очень добрый и честный человек, всегда готовый прийти на помощь, если тебе трудно. И второе – он виртуозно владел машиной. Там, где другие обязательно застревали и просили буксира, он каким-то чудом на своём “газике” обязательно проскакивал. Я сначала думал, что ему просто везёт. Но когда в нескольких поездках посидел рядом с ним в кабине, увидел, что никакого везения нет, а есть тонкий расчёт, виртуозное маневрирование газом и сцеплением и глубокое знание своей машины, её особенностей. Уже за одно это такого человека стоило уважать.

Ещё один друг был у меня в химроте и тоже шофёр – Павел Иванович Зотов, колхозный механизатор из Горьковской области. Был он человек добрый и весёлый, отлично разбирался в любой технике. Наши машины “ГАЗ-АА” были очень старые и растрёпанные, поэтому после каждого передвижения их необходимо было ремонтировать. Часто бывало так, что времени для ремонта было мало, тогда в помощь шофёрам выделяли солдат. Зотов почему-то всегда просил командира роты, чтобы ему в помощь дали меня. Постепенно это вошло в привычку, что мы ремонтируем с ним машину вдвоём, на этой основе и возникла наша дружба. Благодаря этому я фундаментально изучил машину, любой её узел мог разобрать и собрать, сейчас уже всё забыл, да и машины этой сейчас уже нет. Зотов предлагал обучить меня и вождению, но я не захотел.

О взятии Кёнигсберга

Всем известно, что Кёнигсберг был не просто город – это крепость, причём очень мощная. Основа её мощи – это кольцо фортов. Все форты имели собственные имена. Против нашей дивизии был форт “Королева Луиза”. Форт представлял собой большой земляной холм, на котором посажен лес. Лес посажен при строительстве фортов, так что деревьям было за пятьдесят лет. Внизу, у основания холма, – амбразуры для пушек и пулемётов. Форт рассчитан на круговую оборону. Слой земли на холме толщиной три метра. Под ним – железобетонные перекрытия форта толщиной два-два с половиной метра. Под ним следуют внутренние помещения форта – семь или восемь этажей, углублённых в землю. В форте созданы запасы боеприпасов, продовольствия, воды и даже сжатого воздуха из расчёта на то, что гарнизон форта может совершенно автономно продержаться и вести бой в течение весьма длительного времени.

Между фортами было построено много линий обычных укреплений, а впереди — минные поля глубиной около двух километров. Столь мощных минных полей мы за всю войну до этого не встречали. Сапёры говорили, что разминировать обычными способами эти мины не удаётся. И вообще немецкое командование было абсолютно уверено, что крепость Кёнигсберг никакая армия одолеть не может.

Мы прибыли под Кёнигсберг сразу после взятия Гранца. Потом вокруг Кёнигсберга стал концентрироваться весь 3-й Белорусский фронт. Когда мы только прибыли, нас удивило, что все окрестные леса — сплошная запретная зона. Большие участки леса огорожены железобетонным забором, на котором колючая проволока под током и везде надписи на немецком языке: запретная зона. Но на поверхности в этой зоне ничего нет, только помещение для охраны, а всё остальное под землёй. У одного из таких объектов мы некоторое время стояли. Это крупный завод по производству артиллерийских снарядов. Въезд в этот завод устроен в большом холме, туда проведена шоссейная дорога и узкоколейка. Перед отступлением немцы этот въезд взорвали, а сам завод и работавших там восемь тысяч наших военнопленных затопили водой.

Когда войска стали прибывать под Кёнигсберг в большом количестве, то все эти запретные зоны были заняты войсками, все заборы с проволокой повалены. Особенно много там было артиллерии. Такого скопления артиллерии всех видов и калибров я раньше нигде не встречал. В качестве главного калибра по специально построенной дороге подогнали батарею (четыре орудия) 380-мм пушек береговой обороны. Эта батарея своим залпом открывала артподготовку в день начала штурма Кёнигсберга.

Все эти войска, артиллерия, танки и весь подвоз — всё шло по единственной дороге через Гранц. На этой дороге было столпотворение. От Гранца до передовой — сплошной поток машин. Такое скопление машин на дороге было очень уязвимо с воздуха. Но никто этого не опасался. Дело в том, что вся немецкая авиация оказалась без горючего. Гигантское подземное бензохранилище, где хранилось горючее для всей немецкой техники в Кёнигсберге, в ходе наступления наших войск оказалось в наших руках. Поэтому наша авиация господствовала в воздухе безраздельно.

Незадолго перед штурмом под Кёнигсберг перебросили женский полк ночных бомбардировщиков. Под этим грозным именем скрывались самые обычные «кукурузники» — По-2. И вот несколько последних ночей перед штурмом эти женщины на своих «кукурузниках» всю ночь трепали немцам нервы. Одну из этих ночей я наблюдал, стоя на посту. Только стемнело — над городом появился первый самолёт. Сделал круг и навешал «фонарей». Потом делает второй круг и бросает бомбы. Бомбы маленькие, он их везет пять-шесть штук и бросает по одной, чтобы растянуть подольше. Как только первый самолёт закончил свои два круга, над городом появляется второй. И этот делает два круга: на первом — фонари, на втором — бомбы. И так всю ночь до рассвета. Немцы не имели ни единой минуты покоя: всю ночь над их головами «зудят» кукурузники. На следующую ночь всё начинается сначала.

Штурм Кёнигсберга начался гигантской артподготовкой. До этого нигде раньше не было такой артподготовки. Но на эту артподготовку и задачи возлагались особые, каких раньше тоже нигде не ставили. Артиллерия малых калибров должна была разминировать все минные поля, и она эту задачу выполнила. Практически это означало, что всю территорию минных полей перепахали взрывами, и поэтому все мины, которые там были, взорвались от детонации. Более крупные калибры били по огневым точкам и всяким оборонительным сооружениям, причём били до их полного уничтожения. По особой программе уничтожались форты. Сначала малым и средним калибрами уничтожали лес на фортах. Потом более крупным калибром снимали землю. Били до тех пор, пока взрывами снарядов разбрасывалась вся земля, и полностью оголялось железобетонное перекрытие. Потом низко летел самолёт и вёз только одну бомбу весом в одну тонну. Эту бомбу он аккуратно клал на это перекрытие, и она там взрывалась. Железобетон не выдерживал и «распукивался», как цветок. Если одна бомба не помогала, везли другую и бомбили до тех пор, пока перекрытие не проламывалось. Тогда немцы выбрасывали белый флаг и вылезали из своего гнезда. Вылезали все целые, раненых не было, но большинство из них оглохшие и полусумасшедшие. Таким образом, весь внешний оборонительный пояс был перепахан нашей артиллерией, и бои были перенесены

непосредственно в город. Но немцы были крайне деморализованы, ничего подобного они не ожидали, они рассчитывали на длительную осаду. Вскоре город был разрезан на две части. С одной стороны наступала наша 43-я армия, а с другой — II-я гвардейская армия генерала Галицкого, и в центре города они встретились. После этого у немецкого командующего хватило благоразумия капитулировать. И всего на взятие самой мощной крепости фашистской Германии наши войска затратили шесть дней — с 4 по 10 апреля 1945 года.

9 мая 1945 года

Когда в последние дни войны мы вступили в Померанию, дивизию растянули вдоль побережья Балтийского моря для его охраны. Против наших правых соседей были немецкие войска, которые остались в ловушке на косе Путциг-нерунг, а против нас немцев не было, поэтому не было и сплошной передовой, была только линия постов. Вот мне и пришлось стоять на таком посту всю ночь с 8-го на 9 мая 1945 года. Людей было мало, поэтому стояли по одному солдату, и расстояние между постами было приличное. И вот где-то после полуночи я вдруг услышал ожесточённую стрельбу из всех видов оружия, кроме артиллерии, причём у себя в тылу. По трассирующим пулям было видно, что стреляют вверх. Стрельба продолжалась несколько минут и затихла. Через некоторое время такая же стрельба вспыхнула в другом месте, потом в третьем. Я, конечно, догадался сразу, что это видно, как в разные подразделения приходит весть об окончании войны. Последние несколько дней это уже чувствовалось, все ожидали, что вот-вот война кончится, и это ожидание было невыносимым. Так я до самого утра и наблюдал стрельбу и ракеты в разных местах, а когда утром сменился и пришёл в расположение части, то увидел удивительную картину. Вся воинская жизнь остановилась, нигде никого на своём месте нет, все пьяные. В одиночку и группами бродят, куда кого ноги несут, орут песни, стреляют в воздух и вообще творят, что кто придумает.

Солдаты из соседней дивизии позже рассказывали, как они принимали капитуляцию немцев, которые стали выходить с косы Путциг-нерунг. Как только немцам передали по радио приказ из Берлина о капитуляции, они сразу же выбросили белые флаги, прекратили стрельбу и прислали своих представителей для согласования места и времени капитуляции. В договорённое время — это было во второй половине дня 9 мая — большая колонна немецких войск во главе с полковником прибыла в указанный пункт. Немцы пришли, как на парад, — оружие и обмундирование начищено до блеска. По команде полковника они сложили в общую кучу оружие и организованно отправились к месту сбора военнопленных.

Гдыня. Июнь 1945 года

Сразу же после окончания войны по указанию лондонского и польского правительства подпольная Армия Крайова начала готовить восстание против нас в Гдыне, к которому наша дивизия имела самое прямое отношение. Выбор Гдыни как места восстания, на мой взгляд, объясняется тремя причинами.

Первая — в Гдыне тогда не было наших войск, была только комендатура.

Вторая — Гдыня — порт, а в случае успеха восстания и создания плацдарма англичане могли бы им помогать морем, в частности, туда сразу же было бы доставлено эмигрантское правительство из Лондона.

Третья — население польской Прибалтики уже тогда отличалось своей прозападной ориентацией и особенно большой ненавистью к нам, поэтому действия подполья находили горячую поддержку всего населения. Население знало о готовящемся восстании, и антисоветские настроения достигли очень высокого уровня.

Однажды в конце июня дивизию подняли по тревоге и форсированным маршем направили в Гдыню. Вошли мы в Гдыню поздно вечером, а в четыре часа утра по специальному сигналу должно было начаться восстание. Так как о дате его начала знали все поляки, то знала и наша контрразведка. Знали всё: имена и квартиры руководителей, склады оружия, план восстания — в общем, всё, что надо было знать. Вечером войска вошли в город, а ночью контрразведка забрала всех, кого надо было забрать. Поляки ждали сигнала, но давать его было уже некому. А когда утром поляки вышли на улицы,

то увидели, что город полон русских солдат, на всех высоких домах — пулемётные точки, на всех видных местах — открытые позиции нашей артиллерии. И поляки стали такими милыми, вежливыми, предупредительными, прямо хоть на хлеб их намазывай вместо масла.

Но шёлковыми они стали только с виду, а на самом деле после неудачи восстания Армия Крайова изменила тактику и стала убивать русских солдат и офицеров, где только могла. Когда дивизия расформировывалась в декабре 1946 года, в Лауэнбурге (Леборке) осталось свыше двухсот могил русских военнослужащих, погибших от членов организации “Армия Крайова”.

О фронтовой пище

Вкратце воспоминания о солдатской фронтовой пище сводятся к тому, что её было очень мало и она была очень скверная. Единственный универсальный продукт, из которого она изготовлялась, — это крупа “шрапнель”, то есть рубленые ячмень или пшеница. Меню также было универсальным, установленным один раз на всю войну. На первое из “шрапнели” приготавливался суп. Юридически на солдатский котел выписывалось мясо, но фактически за всё время службы в 68-м стрелковом полку я в своем котелке мяса ни разу не обнаружил. Правда, когда вместо мяса выписывались консервы, то их следы иногда обнаруживались. Единственный продукт, которого в этом супе всегда было в достатке, — это лавровый лист. На второе тоже “шрапнель” варилась погуще и именовалась кашей. На третье, естественно, чай. Какие-либо отступления от этого универсального меню бывали крайне редко. Конечно, когда мы были в Прибалтике, то иногда весьма существенную поправку в меню вносила какая-либо продовольственная самостоятельность то ли самих солдат, то ли повара, то ли старшины. А хуже всего было весной и летом 1943 года. Всё это время мы находились в “зоне пустынь”, которую немцы создавали по приказу Гитлера при своём отступлении. Все деревни сожжены, население угнано, на полях и огородах бурьян в рост человека, никакой зелени в пищу нет. В моём голодном детстве я привык употреблять в пищу дикорастущие травы. Но солдатская служба и поиск съедобных трав — вещи несовместимые. Для разнообразия дополнительно к “шрапнели” иногда в суп закладывали сушёный картофель или морковь. Не знаю, кто это придумал и как их сушили, но точно знаю, что это вещь малосъедобная. Это какая-то чёрно-бурая лапша, которая в супе не разваривалась и во рту не разжёвывалась. Вследствие длительного питания в таком стиле у солдат пошли жуткие авитаминозы. У каждого это проявлялось по-разному, у многих это была “куриная слепота”. Ночью на марше в хвосте каждого подразделения во главе со зрячим проводящим тянулась длинная цепочка слепых, которые вынуждены были идти, держась друг за друга. Лично у меня куриной слепоты не было, зато была страшная цинга. Каждый зуб болтается во все стороны. От врачей мы знали, что для прекращения всех этих страданий надо съесть свежей печени. Поэтому все с нетерпением ждали вступления в бой. На второй или третий день после начала боёв у полковых разведчиков убило лошадь. Лошадь стояла в укрытии, а рядом росла сосна. Немецкий снаряд попал прямо в ствол сосны, высоко над ямой, и осколками поразило лошадь. Весть об этом быстро разнеслась по окрестным подразделениям, и все страдающие ринулись к этой бедной лошади. Она ещё не успела отойти, как ей штыками от СВТ распорол живот, вырвали печень, разрезали на куски, расхватали по котелкам, сварили на костре и съели. У кого была куриная слепота — исчезла сразу, в ту же ночь её уже не было. Моя цинга исчезла через несколько дней. В дальнейшем кто-то из учёных придумал радикальное средство борьбы с авитаминозом, которое применялось повсеместно. Перед тем как начать готовить пищу для солдат, повар набивает в котёл хвой, заливает водой и варит. Потом процеживает и на полученной зелёной и вонючей жиже варит и суп, и кашу, и чай. Это, конечно, отвратительно, но зато никаких авитаминозов.

О болезнях на фронте

Все учёные-медики, которым пришлось воевать, единодушно отмечают такой удивительный факт: организм солдата на фронте по отношению к болезням резко отличается от организма нормального человека в нормальной

обстановке. Это различие проявляется в двух направлениях. Первое: все неинфекционные болезни, которыми люди страдали до войны (например, различные пороки сердца, язвы желудка и прочее), на фронте у этих людей бесследно пропадали без всякого лечения. Второе: человек на фронте не заболел в такой ситуации, где он должен был обязательно заболеть при нормальной обстановке. Медики эти факты отметили, но не объяснили (если, например, говорят, что это объясняется особым состоянием нервной системы человека на фронте, то ясно, что это игра слов, а не объяснение). Я не медик, поэтому, естественно, ничего здесь объяснить не берусь. Я могу лишь из собственного опыта подтвердить, что такие явления действительно были.

В детстве я с трудом выжил в голодовку 1933 года, приходилось питаться всякой дрянью, вследствие этого у меня получился хронический гастрит. Он меня мучил до самой войны. Даже небольшой кусочек ржаного хлеба вызывал длительные и сильные боли в желудке. На фронте я забыл о своём гастрите, и мой желудок полностью отвечал всем солдатским стандартам, то есть мог переварить всё, за исключением гвоздей. До войны я болел часто многими простудными болезнями. За всё время войны я ничем не болел, даже лёгкого насморка ни разу не было. И это несмотря на то, что организм солдата на фронте подвергается очень сильным воздействиям, которые в обычной обстановке привели бы к заболеванию.

К таким воздействиям я отношу длительное отсутствие сна, очень большие физические нагрузки, скудное и нерегулярное питание. Очень часто все эти факторы действовали одновременно. Однажды нам пришлось шагать безостановочно четверо суток подряд без сна и без пищи. Утром на полчаса привал, всё остальное время шагай. Переходы по двое или по трое суток были много раз. В таких переходах больше всего доставалось ногам и плечам. Ноги доходили до такого состояния, что на привале, если сел, то сам без посторонней помощи уже не встанешь. А плечи страшно передавливались ляжками. Лямки от тяжёлого вещмешка с патронами, ремень от автомата, а до фронта — ещё и лямка от противогаза, и всё это на плечах. Прошло сорок с лишним лет, но у меня до сих пор при перемене погоды болят не только ноги, но и плечи, возникает ощущение, будто эти лямки до сих пор на моих плечах.

Наибольшее воздействие на мой организм оказало переохлаждение. Я не знаю, как для других солдат, тут могут быть индивидуальные особенности, но для меня это был наиболее сильный отрицательный фактор. Приведу несколько примеров. В Белоруссии есть такие места, где идёшь по земле, как по подушке, она под ногами прогибается: сверху — дёрн, а под ним — болото. Однажды поздней осенью 1943 года мне пришлось уснуть на такой поверхности. Уснул, конечно, сразу, как только представилась возможность, так как перед этим несколько суток не спал. Постепенно дернина подо мной стала прогибаться и в это углубление стала просачиваться вода. В этой холодной ванне я спал два или три часа. К тому моменту, когда меня разбудили и послали выполнять очередное задание, вся одежда на мне была насквозь мокрая. И было жутко холодно, так как температура была около нуля. В обычных условиях результатом всего этого было бы, как минимум, воспаление лёгких. А тогда у меня после даже насморка не было, я помёрз, пока одежда на мне высохла, и всё.

В начале зимы 1943 года нам устроили баню. Для этого в балке в двух километрах от передовой поставили большую палатку, в ней натопили металлической печкой, а под ноги положили доски. Ну, а раздеваться и одеваться, конечно, на снегу. Раздеваешься, всё обмундирование сдаёшь, а выйдя из бани, получаешь чистое. Чистое, конечно, относительно, но во всяком случае, без вшей. К тому времени, когда я вышел из бани, у старшины что-то там заело и за чистым обмундированием собралась большая очередь. Вот в этой очереди я и постоял где-то минут двадцать или больше. Гольный и мокрый, а мороз был и ветер. Замерз, конечно, страшно. Но последствий никаких, даже насморка не было.

Наиболее сильное переохлаждение за всю войну и за всю жизнь мне пришлось перенести под Мемелем в январе 1945 года. Мемель некоторое время был окружён (точнее почти окружён, так как немцы имели выход к морю). Наша разведка получила сведения, что немцы собираются танками прорвать наше кольцо и выйти из Мемеля сушей. В связи с этим было решено на нейтралке устроить противотанковые засады. Говорили, что там были солдаты

с противотанковыми гранатами, а нам было приказано устроить засады с зажигательными бутылками (зажигательные бутылки и дымовые шашки считались оружием химиков). Засады выставлялись два дня, участвовало в них от нашей роты по два человека. Я попал на второй день. Перед рассветом меня отвели на нейтралку и показали ямку, в которой я должен был пролежать всё светлое время суток. Ямка была очень мелкая и вся обледенелая. Я в неё втиснулся, лёг на левую сторону тела, а под правой рукой расположил бутылки с «КС». Мороз был небольшой, градусов 10°C, так что поначалу все было терпимо. Но на рассвете ветер подул с моря и пошёл дождь. Мороз и дождь. Шинель намочла и взялась ледяной коркой, по этой корке вода стала стекать и накапливаться на дне ямки. В этой воде мне и пришлось лежать весь день, так как деваться было некуда. Одежда снизу промокла до тела, и стало жутко холодно. Сначала, пока мёрзла только кожа, ощущение холода было обычным, только очень сильным. А потом, по мере охлаждения организма, стали мёрзнуть внутренние органы и появились непривычные ощущения, которых я ни разу до этого не испытывал: ощущение дикой, раздирающей боли во всём теле, особенно, как мне казалось, эта боль терзала кровеносные сосуды. После нескольких часов такой пытки у меня стало мутиться сознание, я стал очень нечётко воспринимать окружающий мир. В какой-то момент ощущение холода и все боли вдруг исчезли. От ног стала подниматься волна приятной теплоты, а по всему телу стало разливаться сладкое блаженство, очень захотелось спать. В полусонном мозгу медленно проплыла равнодушная мысль: так вот почему в литературе пишут, что трупы замёрзших часто находили с блаженной улыбкой на устах. Оказывается, остановка кровообращения сопровождается состоянием эйфории, ощущением полного блаженства. Вслед за этим возникает другая мысль, уже тревожная: так это значит, что я замерзаю! Если я поддамся искушению и усну, то уже никогда не проснусь! Громадным напряжением воли прогоняю сон и встряхиваю всё тело. Восстановление кровообращения сопровождается адской болью во всех кровеносных сосудах. Впредь я был осторожнее и переход в состояние эйфории не допускал, как это ни было мучительно. Потом кончился дождь, и в ямку, где я лежал, перестали поступать свежие порции холодной воды. Весь день на передовой было очень тихо и спокойно, никаких немецких танков не было. Как только стало темнеть, я немедленно выбрался из своей ямки и, с трудом владея ногами, ушёл в расположение роты. На другой день стало известно, что сообщение разведчиков не соответствует действительности. Как это ни удивительно, тогда сильнейшее переохлаждение обошлось для меня без всяких последствий, не было даже насморка.

Таким образом, на основании собственного опыта могу сделать вывод, что действительно самые сильные отрицательные воздействия на организм на фронте не вызывали обычных в таких случаях заболеваний. Однако это не значит, что все эти воздействия обошлись для наших организмов без последствий. И все мои многочисленные болезни теперь — следствие фронтовых воздействий на организм.

Что касается инфекционных заболеваний на фронте, то я не помню ни единого случая, чтобы какой-либо солдат заболел чем-либо инфекционным. И это несмотря на всю антисанитарию солдатского быта. Из литературы я знаю, что в первую мировую войну страшным бичом русских солдат на фронте был тиф. Потери от тифа были сравнимы с потерями в боях или даже превышали их. В эту войну тифа не было. Я считаю это громадной заслугой медицинской службы, в частности, систематической вакцинации всего личного состава войск. Периодически нам кололи комбинированную вакцину от всех инфекционных болезней: и от столбняка, и от холеры, и от тифа и других.

Об отношении к мёртвым и живым

Ясно, что война не бывает без убитых. Ясно и то, что мы пережили самую большую и самую страшную войну в истории человечества. Поэтому, естественно, убитых было больше, чем в любую другую войну. Когда я впервые увидел много убитых, это произвело на меня страшное впечатление. Это было в сентябре 1941 года на станции Лихачёв (г. Первомайск Харьковской области) после бомбёжки базара, где погибли около семисот человек. Это были горы трупов.

Позже, на фронте, я к трупам привык, как и все. Смерть на фронте – дело обычное и особых эмоций не вызывает. Но меня всегда беспредельно возмущало, что убитых часто не хоронили, их трупы оставались валяться там, где их настигла смерть. Мне особенно запомнился такой случай. Где-то в августе 1943 года полк вступил в лес, на лесной дороге лежал убитый солдат. Много людей и лошадей прошло мимо него, все его обходили, а подводы объезжали. Сколько офицеров мимо прошло, любой из них мог приказать своим солдатам оттащить труп в ближайшую ямку и забросать землёй. Но никто этого не сделал. Ночью по этой дороге пошли танки. Бедного солдата раздавили и перемешали с землёй, осталась на обочине одна нога. Человек отдал самое дорогое – жизнь, но не получил даже права на человеческое захоронение своих останков. Так эта нога и сохранилась в моей памяти как символ неуважения к человеку, полнейшего пренебрежения им. И всё это после широковещательных заявлений о ценности человека, которые мы часто слышали в предвоенные годы.

Все первобытные народы, которых Геродот называл варварами, очень почтительно относились к своим мёртвым. Если над мёртвым по какой-либо причине не совершен похоронный обряд, то для его близких это горе большее, чем сама его смерть. Если вы читали Гомера, то вспомните, сколько усилий предприняли троянцы, чтобы получить труп Гектора, убитого Ахиллом, и совершить над ним обряд захоронения. А скифы насыпали своим мёртвым курганы и клали в них огромные ценности. Короче говоря, люди с тех пор, как они стали людьми, всегда хоронили своих мёртвых. Позже был специальный приказ, и в деле захоронения был наведён порядок. Но это было гораздо позже, а тогда, в 1943-м, дело обстояло именно так.

Между прочим, я так и не знаю, захоронили ли тех солдат из армейской штрафной роты, которые полегли на немецкой проволоке в бою 26 января 1944 года, а потом всю зиму и весну немой укором маячили перед нашими глазами в своих белых маскхалатах.

Ну, мёртвые есть мёртвые – и при любом к ним отношении живыми уже не станут. Гораздо страшнее было то, что отношение к живым было ненамного лучше. Одним непродуманным словом отправляли на смерть сотни и тысячи солдат.

Но наибольшее впечатление произвёл на меня следующий случай. Через неделю после вступления в бой наш полк получил крупное пополнение, что-то около 500 человек. Их привезли из запасного полка, все солдаты 1925 года рождения, молодые и необстрелянные. Прибыли они в полк поздно вечером, закончили их принимать в два часа ночи, а уже в четыре часа утра полк перешёл в наступление. Приказано было взять какую-то деревню. Полк штурмовал эту деревню в продолжение двенадцати часов и не взял её. На подступах к этой деревне полегло почти всё полученное пополнение. Старые солдаты, хотя их было немного, все остались живы, а те, что прибыли с пополнением, почти все погибли. Объясняется это тем, что им не дали времени на адаптацию. Вот я ставлю себя на их место. Я старше их на один год и прибыл в полк тоже из запасного полка. Моё счастье, что я попал в часть, которая формировалась. А если бы и мне пришлось через два часа после прибытия идти в бой, то я оказался бы совершенно никудышным солдатом и погиб бы в первые минуты боя. Этого не произошло потому, что я привыкал к фронтовым условиям с апреля по август 1943 года – срок по фронтовым меркам огромный. И всё это время в обстановке постепенного приближения условий к боевым я учился. В солдатском деле, как и во всяком другом, есть множество тонкостей, которые нельзя изучить теоретически, но можно перенять только от сведущих людей. Вот этим тонкостям фронтовой жизни я и учился у старых, бывалых солдат, которые уже были на фронте раньше, имели ранения и боевой опыт. Поэтому, когда я пошёл на передовую, я уже соображал, где надо вставать, а где надо падать, когда надо идти, когда бежать, а когда ужом ползти, перед каким снарядам падать, а на какой внимании не обращать. То, что я уцелел на фронте, конечно, случайность, но диалектический материализм считает, что случайность есть проявление скрытой закономерности.

Через некоторое время после неудачного длительного штурма приехало около десяти «катюш». Они «сыграли» по деревне один залп и уехали. И вопрос о взятии деревни был решён быстро и радикально – вся деревня превратилась в один гигантский костёр. Спрашивается: если была возможность таким способом взять деревню, так зачем же положили пятьсот юных жизней?

Об оружии и снаряжении

Перед самой войной я окончил первый курс учительского института. Там нам читали военную подготовку. Мы фундаментально изучали оружие, причём не только данный конкретный вид оружия, но и общие принципы его устройства с подробным физико-техническим обоснованием. Я в совершенстве освоил технику прицельной стрельбы, так что в армии и на фронте я всегда стрелял метко, несмотря на моё слабое зрение. В силу всего этого за всю войну мне ни разу не встретилась такая конструкция оружия, в которой я самостоятельно не смог бы досконально разобраться. Знакомясь со многими видами оружия, я, естественно, сравнивал их между собой, о каждой конструкции у меня складывалось определённое мнение.

О достоинствах русской трёхлинейной винтовки Мосина написано очень много. Было ясно, что она морально устарела и роль основного стрелкового оружия выполнять уже не могла. Немецкая винтовка была легче и короче нашей, но она пользовалась всеобщим презрением наших солдат. Наш карабин с откидным штыком, который заменил винтовку, был уже значительно лучше, но всё равно основной проблемы он не разрешил. Её разрешил автомат ППШ. Из всех видов оружия самыми выдающимися по конструкции я считаю ручной пулемёт Дегтярёва и автомат ППШ. Какая гениальная простота! В РПД весь затвор — три железки, а в ППШ затвор — всего одна железка, которая совершает всего одно возвратно-поступательное движение и больше никаких движений. Следствие этой простоты — абсолютная нечувствительность к внешним воздействиям. Можно утопить в болоте, после этого вывалить в песок — и всё равно он будет стрелять.

Немецкий автомат и пулемёт МГ-34 — тоже оружие весьма серьёзное, уже только калибр автомата 9 мм вынуждает говорить о нём почтительно. Но это оружие страшно сложное. Затвор МГ-34 состоит из очень многих деталей сложнейшей формы, которые при выстреле совершают множество различных движений. И как следствие этого — это оружие работает безотказно только тогда, когда оно в идеальном порядке. При малейшем внешнем воздействии — чуть-чуть песочек или просто загустела смазка от холода — оно уже отказывает. Иначе говоря, немецкое оружие приспособлено к национальному характеру немцев, их педантичности, сверхаккуратности и добросовестности во всяком деле. А наше оружие так же хорошо приспособлено к нашей халатности, безалаберности и разгильдяйству. Кроме того, есть ещё одно существенное различие — в технологии изготовления. Для изготовления немецкого оружия требуется сложное оборудование и большой труд высококвалифицированных рабочих. Для изготовления нашего оружия ничего этого не требуется, технология его изготовления чрезвычайно проста, просто примитивна. Изготавливали его в основном женщины и подростки на самом простом оборудовании.

Расхваливая РПД и ППШ, я совсем не хочу сказать, что в них не было недостатков. Те, кто стрелял из РПД, знают, что в нём был очень существенный недостаток — очень неудачная конструкция магазина-диска. Заряжать его трудно и неудобно, при стрельбе он часто заедает. Я знаю, что к концу войны пулемёт Дегтярёва был полностью модернизирован, но из него мне стрелять не приходилось, поэтому ничего о нём сказать не могу.

В автомате ППШ можно указать два недостатка. Его ствол изготавливался отдельно и свободно вкладывался в кожух, жёсткой связи между ними не было. При стрельбе по стволу всё время ударяет затвор, вследствие этого отвод постепенно разбалтывается, и прицельная стрельба из такого автомата уже невозможна. Второй недостаток ППШ — неудачная конструкция предохранителя.

Автомат ППС, который появился в конце войны, мне не понравился — уж очень он игрушечный, несерьёзный.

Большое уважение вызывала у меня также конструкция СВТ. По своей огневой мощи — это грозное оружие, вполне сопоставимое с ручным пулемётом. Кроме того, это самое прицельное оружие из всех, из которых мне приходилось стрелять. По меткости стрельбы СВТ превосходила всё другое наше и немецкое стрелковое оружие. Я восхищался, как просто и остроумно конструктор превратил самозарядную винтовку в автоматическую. Мне очень понравился также штык к этой винтовке. Штык как холодное оружие мне употреблять не приходилось, но зато им при необходимости можно было и дров

нарубить для костра, и окопаться, и сделать много других солдатских дел. И очень жаль, что все неоспоримые достоинства СВТ сводились на нет единственным недостатком. Он состоял в том, что в деревянной ствольной накладке против газового поршня были сделаны прорези для выхода отработанных газов и охлаждения газового поршня. Когда ставишь винтовку к стенке окопа, она опирается о стенку как раз этими прорезями, в них попадает песок, который проваливается под газовый поршень. Из-за этого винтовка перестаёт работать, её надо разбирать и чистить. Чтобы избежать этого, я всегда эти прорези обматывал носовым платком (солдаты надо мной шутили: “Ты ухажи-ваешь за винтовкой, как за невестой”). И она меня ни разу не подвела.

В самом конце войны, уже в Мемеле, мне попала немецкая самозарядная винтовка фирмы “Маузер”. Она почти не уступала СВТ по меткости стрельбы, но была только самозарядной, а не автоматической. В её конструкции использованы основные идеи нашей СВТ, только получилась она сложнее и тяжелее, чем СВТ.

Уже в мае 1945 года мне попался новый немецкий автомат, похожий на наш современный АК. Но к тому времени и война, и оружие мне страшно осточертели, и я не стал его разбирать и изучать.

Что касается офицерского оружия, то здесь положение было совсем другое. Если сравнить наш ТТ и немецкий “парабеллум”, то сравнение явно не в пользу ТТ. Конечно, “парабеллум” тяжеловат, как всё немецкое оружие, но зато как он сидит в руке и как удобно из него стрелять! В руках хорошего стрелка – это грозное оружие. ТТ крайне неудобный для стрелка, неудачное положение центра тяжести весьма затрудняет прицельную стрельбу из него. Все другие пистолеты, которые встречались у немцев, также очень хорошие. Мне попадались “вальтеры”, “смит-вессоны”, “кольты”, много разновидностей “браунингов”, а один раз даже “маузер” в деревянной кобуре, которая может служить для него ложей.

С артиллерией я никоим образом не был связан, поэтому о достоинствах и недостатках пушек и миномётов ничего сказать не могу. Однако не могу не высказать своего восхищения дивизионной 76-мм пушкой ЗИС-3. Мне кажется, что это лучшая пушка за всю историю артиллерии. Аналогичная немецкая пушка против нашей была очень тяжёлой, неуклюжей и вообще безнадежно устаревшей.

Как я уже писал, главным моим занятием всё время, пока я был в 68-м стрелковом полку, было копать землю. Поэтому я могу здесь абсолютно авторитетно высказать своё глубочайшее презрение к тем уродцам, которые назывались у нас большой и малой сапёрными лопатами. Эти лопаты изготовлялись из такого отвратительно мягкого металла, что наточить их было невозможно, а копать ими землю – это мучение, пытка, особенно если в земле корни деревьев или камешки (а я что-то не помню, чтобы земля, которую я копал, была без корней или камешков. А если и была, то это была сухая глина, твёрдая, как бетон). Поэтому я был очень рад, когда мне попала немецкая малая сапёрная лопата. Вот это действительно солдатская лопата! Это универсальный и очень удобный инструмент для выполнения любых земляных работ. Ей не страшны ни камни, ни корни. Самое лучшее, что было в экипировке немецкого солдата, – это лопата.

Немецкий солдатский ранец с клапаном, покрытый телячьей кожей шерстью наружу, конечно, по сравнению с нашим вещмешком выглядит весьма внушительно, но эта внушительность скорее недостаток, чем преимущество, так как он очень тяжёлый. Да и, кроме того, телячьей коже можно было найти и лучшее применение.

Из всех деталей обмундирования я остановлюсь только на одной наиболее важной для солдата – обуви. Солдатам выдавали ботинки с обмотками. Что касается ботинок, то тут двух мнений быть не может – это очень хорошая обувь. Ноге в них удобно, ходить легко. Конечно, своим невзрачным видом они не могли соперничать с “шикарным” американским “чудом”, получаемым по ленд-лизу. Но это только по внешнему виду. А в деле американские ботинки – это кандалы, это издевательство над солдатскими ногами. Однажды мне пришлось в новых американских ботинках пройти два ночных перехода. В результате ступни моих ног пришли в такое состояние, что я некоторое время вообще ходить не мог. Так что о наших солдатских ботинках мнение может быть только положительное.

А вот что касается обмоток, то здесь вопрос сложнее. Для многих солдат была большой проблемой намотать обмотки так, чтобы в движении они не разматывались. Для меня такой проблемы не было. Технику их наматывания я освоил с первого раза и за всю войну не помню ни единого случая, чтобы у меня разматывались обмотки. Если ботинки целы, а обмотки намотаны плотно, то сквозь эту систему не проникает вода, снег, грязь и другое. Поздней осенью 1943 года мне пришлось много раз подряд переходить вброд довольно глубокий ручей, однако ноги оставались сухими. И вместе с тем обмотки – это большое зло для солдата, так как лишают ноги нормального кровообращения. В казарменных условиях ноги имеют передышку ночью. При очень больших нагрузках на солдатские ноги им всё время приходится сидеть на голодном пайке в отношении кровообращения. Солдаты дружно ненавидели обмотки. Никакая другая часть солдатского обмундирования не удостаивалась столь единодушного презрения, как обмотки. И поэтому при первой возможности солдаты старались от них избавиться.

Такая возможность впервые представилась летом 1944 года. Наши солдаты постепенно стали переобуваться в сапоги пленных немцев. Немецкие солдатские сапоги – обувь никудышная. Они очень тяжёлые, страшно грубые, ноги в них быстро устают, долго ходить в них трудно. Но тем не менее солдаты мирились с этими недостатками, лишь бы избавиться от обмоток. К концу войны все солдаты хитростью были обуты в трофейные немецкие сапоги. Мне наши солдаты достали хромовые сапоги немецкого офицера. Сапоги были очень хороши и пришлись очень хорошо на мои ноги, но их я обул только один раз. Их увидел старший лейтенант Капустин и забрал себе, заявив, что солдат хромовые сапоги не положены. Правда, надо отдать ему должное, взамен он отдал мне свои кирзовые сапоги. В этих сапогах я и ходил до конца войны и после войны, в них и демобилизовался. Оказалось, что кирзовые сапоги – очень хорошая и удобная обувь.

В зимнее время мне, как и всем солдатам, приходилось носить валенки, но об этой обуви я ничего хорошего сказать не могу, для фронтовых условий и мягкой зимы эта обувь неподходящая. Долго идти в них трудно, но самое главное – трудно сохранить их сухими.

Из всего прочего снаряжения очень большую роль в жизни солдата имел котелок. Наш двухлитровый котелок того времени был хорош своей ёмкостью, но был он очень тяжёлый и неудобный, поэтому при первой возможности солдаты его бросали и брали немецкий котелок, гораздо лучше приспособленный к солдатским потребностям.

О чувстве Родины

Слова о патриотизме, Родине до войны преподносились нам в школе, они употреблялись в газетах столь часто (как они произносятся и пишутся и сейчас), что превратились в избитый штамп и никаких чувств не вызывали.

Оказалось, что чувство Родины – это действительно высокое и святое чувство, но для “открытия” его нужно было попасть за пределы Родины. Я это почувствовал сразу же, как только мы переехали границу и попали в первый немецкий город на нашем пути – Тильзит (Советск).

И в России, и в Белоруссии сколько городов и сёл встречалось на нашем пути, и никаких особых эмоций это во мне не вызывало. Я их воспринимал как свои города и сёла, и они меня воспринимали как своего. В Тильзите же я резко, сильно, как-то прямо кожей ощутил, что я этому городу чужой, и он мне чужой и враждебный. И сколько мы двигались по Восточной Пруссии, меня не оставляло ощущение враждебности всего окружающего. Чужие и враждебные дома, немецкие двухметровые заборы с колючей проволокой, немецкий сверхпедаanticный порядок во всём. Я тоже люблю порядок, но не до такой степени. У немцев порядок – фетиш, перед которым надо преклоняться. Чужим и враждебным оказался даже немецкий лес.

За время войны на Смоленщине и в Белоруссии я очень привык к лесу. Лес солдату первый друг. В любую погоду: в жару и дождь, в мороз и слякоть – лес всегда укроет и обогреет, спрячет и защитит. Если надо, в лесу всегда построшь шалаш из лапника, если надо – землянку или блиндаж, всегда можешь разжечь костер берестой. Я представляю, как трудно было солдатам воевать на Украине, где почти нет лесов. Но в Восточной Пруссии –

это совсем другой лес, непривычный, чужой и враждебный. Деревья, в основном ель, посажены геометрически правильными рядами в трёх направлениях – в длину, ширину и по диагонали. Сучья и ветки обрезаны со всех деревьев строго до одинаковой высоты. Внизу – чистота и строгий немецкий порядок, сушняк на костёр – и то не найдешь, всё убрано и вылизано. И только пройдя Восточную Пруссию, в бывшем Польском коридоре мы встретили леса в русском стиле.

В Лауэнбурге мы стояли больше года, привыкли, и постепенно ощущение враждебности всего окружающего притупилось. Но зато нестерпимо, невыносимо захотелось домой. Родина стала казаться далёкой и очень желанной мечтой, всё бы отдал, лишь бы домой. Поэтому я очень понимаю и очень сочувствую старому русскому полковнику, которого наши солдаты встретили под Кёнигсбергом. Немцы перед отступлением угоняли всё своё население, но он спрятался и специально остался. А встретив нашего солдата, горько плакал. Рассказал, что он полковник старой русской армии, в гражданскую войну воевал в белой армии, эмигрировал в Германию и всё это время работал в поместье в качестве батрака. Он признаёт, что тяжко виноват перед своей Родиной, пусть его накажут, пусть даже расстреляют, но пусть разрешат перед смертью побывать в родных местах, ещё раз прикоснуться к Родине.

Я также очень хорошо понимаю композитора и пианиста Сергея Рахманинова, который эмигрировал в Америку, но перед смертью в 1942 году перечислил всё своё состояние (около трёх миллионов долларов) в фонд обороны СССР и просил только одного – разрешить ему вернуться, чтобы умереть на Родине.

Точно так же я понимаю Георгия Гамова, одного из крупнейших физиков XX века, который в возрасте 54 лет умер в США от ностальгии, от тоски по своей родной Одессе. Всех подобных людей я очень хорошо понимаю. И совершенно не понимаю многих нынешних, для которых Родина – пустой звук. Мне кажется, что только самые большие подлецы и отъявленные негодяи могут променять Родину на блеск заграничной мишуры. И я одобряю, когда такие уезжают в Израиль, в Америку. И не понимаю, почему их не отпускают. Пусть едут, меньше сволочей здесь останется.

Кто-то из писателей-фронтовиков в газетной статье заявил однажды, что у каждого была своя война. Эту мысль я полностью разделяю. Я в своих воспоминаниях описал войну такой, какой она была для меня, правда, не всю войну, а только ту её часть, которая связана с 70-й стрелковой Верхнеднепровской ордена Суворова дивизией, то есть с апреля 1943 года.

Война неожиданно ворвалась в нашу жизнь, безжалостно перепахала наши судьбы и глубокой бороздой разделила наше время на два периода, на две эпохи: “ДО войны” и “ПОСЛЕ войны”. Война всё изменила: и мы изменились, и страна наша изменилась, и весь мир изменился. И я благодарен судьбе за то, что мне довелось увидеть эти изменения. Очень многие, кто шёл рядом со мной, были так же молоды и ни в чём перед судьбой не виноваты, но до конца войны они не дошли. И от многих из них не осталось даже могилы на этой земле. И я всегда чувствую, что я живу благодаря им, они погибли и за меня. Но жизнь на Земле продолжается. И весь вопрос сейчас: была ли пережитая нами война последней или последняя война ещё в будущем?